

ПТИЦА, ОТБИВШАЯСЯ ОТ СТАИ

Повесть

*Хочу вернуться к детству моему.
Вернуться в детство и потом — во тьму.*

Федерико Гарсиа Лорка. «За поворотом»

С рождения все дни ребёнка одинаково значимы, наполнены смыслом. Но приходит время учёбы, затем — труда, и появляется день отдыха и лени — воскресенье. Его суть плавно перетекает на начало недели. И понедельник, обретя черты праздности, уходит на раскачку, настрой на рабочий ритм.

Понедельник — день тяжёлый. Понедельник — весь пустой. Пустые дни множатся, складываются в недели, месяцы, годы — бесшумно и неотвратимо, как неотвратимо движение к смерти. Однажды мы обнаруживаем, что все дни окончательно стали пустыми, бесцветными. Значит, подкралась старость.

Понедельник. Сегодня Матвеев проснулся ни свет ни заря, так и не досмотрев сон. Проснулся от того, что кто-то не очень дружелюбно толкнул его в плечо. В полудрёме он подумал на соседа — бесцеремонного, вечно пьяного, но в сущности доброго. Внутренне заворчал. Сначала на себя: «Вот старый, опять забыл набросить крючок на дверь». Потом на Ивана: «Небось пришёл на опохмелку просить». С досадой натянул на голову одеяло — отгородился.

Не помогло. Сквозь ватный заслон ему всё чудился сверлящий взгляд соседа. Матвеев не выдержал, устало откинул одеяло. Потянулся к ночнику, зажжёт свет. Недоумённо посмотрел на дверь. В комнате никого не было. В окно ударила ветка тополя. Матвеев вздрогнул.

Глухой стук всколыхнул память. ...Кладбищенский серый зимний день, скорбный путь, Матвеев — за гробом друга. Вот они подошли к краю могилы. Все замолчали. Угомонились и птицы. Торжественная минута — открытие крышки гроба. Лицо Семёна последний раз предстало перед миром. Небо бесшумно коснулось его чела, следом приложил свои губы Матвеев. Последнее прикосновение, последнее прости. Короткий перестук молотков. Крышка закрыта. Гроб на дне ямы. Первый ком мёрзлой земли и — глухой стук.

Это было в прошлом году. В такую же февральскую вьюжную пору, там, на Парголовском, он похоронил Семёна — единственного друга.

С первых дней войны они делили всё пополам: и горе, и радость, и хлеб. А после одного боя — и кровь. Тяжело раненному Семёну перелили кровь Матвеева. И судьбы их совпали, как совпала у них группа крови. Ни у того, ни у другого никого не осталось. Семья Семёна умерла в блокаду, матвеевская — во время депортации корейцев в Среднюю Азию. После войны оба так и не женились. Жили холостяками. Холостяками дошли до старости. Один уже

умер, другой — в дороге к смертному часу. Дороги бывают длинные, короткие, но все они ведут в вечность.

Матвеев встал. Накинул халат, зашаркал к окну. Глянул на старый тополь. Тот покачивался под резкими порывами ветра, шевелил заскорузлыми ветвями и как будто жаловался на что-то на своём языке.

А в тёмном небе кружилась метель. Она затопляла двор, липла к крышам и стенам. Размазывая грязь стёкол, смотрела на спящие, безвольные, разбитые тяжестью дневных забот тела: мужские, женские, полные и худые, юные и старческие, красивые и уродливые. Люди спали, и город спал. Спал, не замечая, как седеет в этот предутренний час. И не было ему дела до одинокой фигуры у окна.

«Семён, Семён, если бы ты знал, как мне одиноко, даже поговорить не с кем, — сетовал Матвеев. — А помнишь? Окончилась война. Ты приехал ко мне в госпиталь. Нашёл меня немощного, потерявшего речь, память. Увидев моё плачевное состояние, ты решительно настоял — ехать с тобой в твой город. В своей холостяцкой квартире стал терпеливо ухаживать за мной, притащив откуда-то азбуку, заново учил составлять слоги, произносить забытые, милые слова. И день настал — я заговорил. Мы стали беседовать. Говорили много и обо всём. И всякий раз ты огорчался, что я ничего не помню из своей прежней жизни. Зная о моей любви к книгам, ты доставал литературу. В те дни ты надеялся, что чтением я воскрешу память. Но чуда не произошло. Тогда ты сам взялся восстанавливать мою

историю, которая стёрлась из памяти в результате взрыва на минном поле, при возвращении с передовой. И потекли рассказы, мои рассказы, поведанные тебе в минуты отдыха и затишья перед боем: о родных и близких, с которыми мои родители в поисках Юльдо — острова благоденствия и счастья — пересекли границу России. Об их трудной жизни на новой земле. Об отце, воевавшем в партизанском отряде, погибшем в гражданскую, о матери, умершей в теплушке поезда во время нашего принудительного переселения в Узбекистан в 1937-ом. О моём сиротстве и мечтах стать, как отец, командиром Красной Армии...

И вот ты ушёл. Позади год жизни без тебя. Я один, совсем один.

Ты рассказывал, что в день, когда мы познакомились, солнце палило нещадно. Наш полк стоял в лесу, ждал приказа о выступлении. На прощание седоусый сержант, командир отделения, выстроил нас, новобранцев, и устроил переключку, заглядывая в шпаргалку. У него была плохая память на имена, и мы то и дело подшучивали над ним. Сержант кого-то громко выкрикнул. Фамилия прозвучала странно. Ты толкнул меня в бок. Я догадался, шагнул из строя, доложил: «Рядовой Ма Тхе Сон». Брови старика поползли вверх. Крякнув, он переспросил: «Как, как?» Я повторил. За моей спиной раздались смешки. «Тихо! — призвал к порядку сержант. — Вот что, солдат, ты не тараторь, говори медленно, чётко». Я, как школьник, по слогам отчеканил ему: «Ма-а Тхе-е Со-он». Командир сверился со шпаргал-

кой и, поупражнявшись, сказал: «Рядовой Ма Тхе Сон, имя твоё сложное, сам понимаешь, в бою некогда выговаривать. Я решил: будешь Матвеевым. Матвеев вполне созвучно твоему Матхей. Согласен?» Я промолчал. «Рядовой Матвеев, встать в строй!» — «Есть!» Я вскинул руку к пилотке, неуклюже сделал разворот и вернулся в шеренгу. Ты шепнул: «А мы станем звать тебя Тихоном». И улыбнулся. Моё внутреннее несогласие — с командиром, с тобой — исчезло. С тех пор я словно бы сросся с новой фамилией, с новым именем. Теперь даже паспортное имя звучит для меня непривычно. Вот как иногда получается... Семён, Семён...»

Матвеев отвернулся от окна. Зашаркал к двери. Привычным движением откинул крючок, вышел в коридор. Ни души. «Спят», — подумал он. Вздыхая, направился в туалет. На ходу отметил, что тихое звяканье откидываемого крючка все ещё стоит в ушах. Значит, комната была заперта изнутри. «Кто меня разбудил?»

Вернувшись к себе, Матвеев глянул на часы: пять утра. Спать не хотелось. Какой уж тут сон. Тревога не отпускала. Пытаясь объяснить причину своего пробуждения, он снова подошёл к окну. На улице свирепствовал ветер. Старый тополь качался, кричал, но всё же стоял. Стоял и не ведал, что приблизился к конечной черте, как и Матвеев...

В городах деревья не умирают стоя. Им не дозволено стоять на ветру памятниками отшумевшего бытия. В городах их вырубают. Здесь они лишены естественной, гордой смерти...

Смерть... Смерти Матвеев не боялся. В войну на-смотрелся. А без памяти уйти страшно. «На небесах спросят: тебе была дана жизнь. Ты распоряжался ею. Ответь, как? И что же мне сказать: не знаю, не помню? Детей не родил. Дом не построил. Деревя не посадил. Выходит, зря жил... Пустой человек...»

И вновь, в который раз заныла душа: «Господи, умоляю, не дай помереть без памяти. Прости, что тороплю. Знаю, не хватает терпения, опыта, новичок я в религии. Священник, окрестивший меня, после исповеди сказал: «Надо молиться, молиться и уповать на Господа Бога. Всё в Его руках». Матвеев встал на колени, перекрестился, горячо зашептал...

За окном внезапно стихло. И тополь не шумел. Откуда-то прилетел ворон. Сел на ветку дерева. С любопытством крутил головой, силясь заглянуть в комнату Матвеева. Светало.